

РОДИНА

2—1993

ISSN 0235-7089



Фото Виктора Грицюка

ср 91.

Главный редактор
В. П. ДОЛМАТОВ

Редакторат:

В. А. АВДЕВИЧ
(первый заместитель
главного редактора —
руководитель коммер-
ческого центра)

В. С. АРУТЮНОВ
(главный художник)
Т. А. КРАВЧЕНКО
(заместитель главного
редактора)

Ф. Н. МЕДВЕДЕВ
(редактор отдела
русского зарубежья)

В. А. ПАНКОВ
(заместитель главного
редактора)

А. В. ПОПОВ
(ответственный секретарь —
редактор отдела междуна-
циональных отношений)

Общественная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
Н. И. БАСОВСКАЯ
В. И. БРАГИН
В. В. БЫКОВ
П. В. ВОЛОБУЕВ
Н. Я. ПЕТРАКОВ
С. А. ФИЛАТОВ
А. С. ЦИПКО

Макет и оформление

В. С. Арутюнова
при участии
Т. П. Яковлевой и
С. А. Артемьева.

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
Перепечатка материалов
и документов допускается
только по соглашению
с редакцией.

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. КОЗЛОВ

Россия во сне 6

М. ХОЛОДНАЯ

*Представляем журнал «Рус-
ское возрождение»* 12

М. ЯНСОН

*Христа ради юродивые на
Руси* 13

О. ЩЕРБИНИНА

Метр золота 18

К. МЯЛО

Мы — народ 21

РЕПЕТИТОР

В. ЛЕЛЬЧУК

*Особая политика пролетар-
ского государства* 26

В. ДМИТРЕНКО

*Иллюзии творцов нового об-
щества* 28

Н. РОГАЛИНА

*Утопии рыночного социализ-
ма* 29

*Билеты для вступительных
экзаменов 1992 года* 30

*Родословие русских великих
князей и царей, составленное*

*австрийским герольдмейсте-
ром Лаврентием Хуреличем
в 1673 году* 32

Т. ПАВЛОВА

*Несостоявшаяся сенса-
ция* 36

Р. ПАЙПС

Вотчина 42

ИСТОЧНИК

*Москва. Кремль. Вождю на-
родов* 50

Последнее письмо 52

Агент «Володя» 55

*Документы масонских лож
в «особом» архиве* 58

*Как избавиться от «дере-
вянных»* 64

Повседневный ЦК 66

Л. РЕШИН

«Казаки» со свастикой ... 70

Представляем архивы ... 80

Т. ДЖАКСОН

*Варяги — создатели Древ-
ней Руси?* 81

В. ПЕРЕЛЬМАН

Лица и подробности 87

Л. АННИНСКИЙ

*«И страшно грустно ста-
ло мне...»* 91

В. РАДАЕВ

Исчез ли социализм? 96

В. ПЕСКОВ

Городок Ситка 103

Ю. БОРИСЁНОК

*Безумные мысли в безум-
ном году* 109

*Возражения принимают-
ся* 112

А. ХАНЖОНКОВ

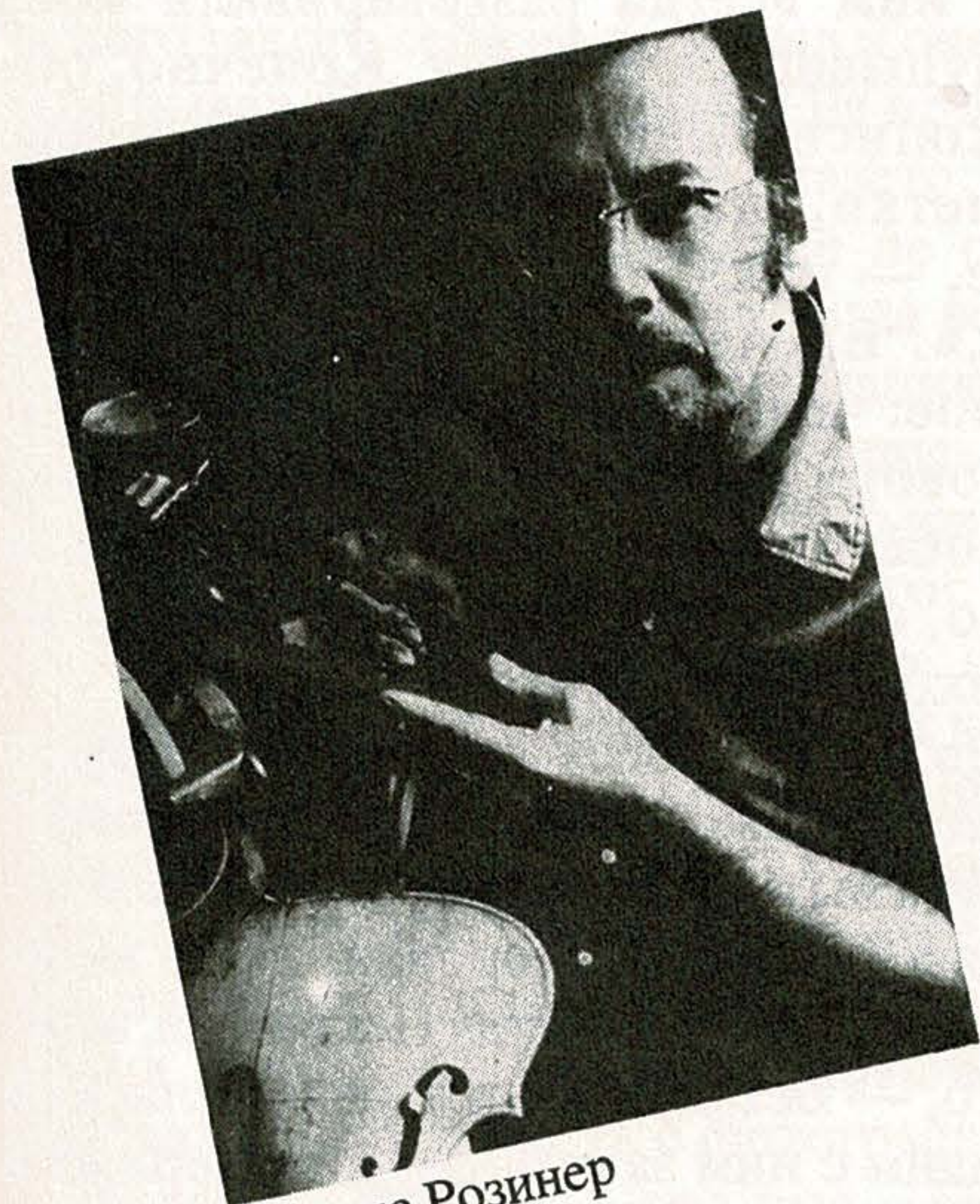
*Первый русский киноре-
жиссер* 114

В. НИКИТИН

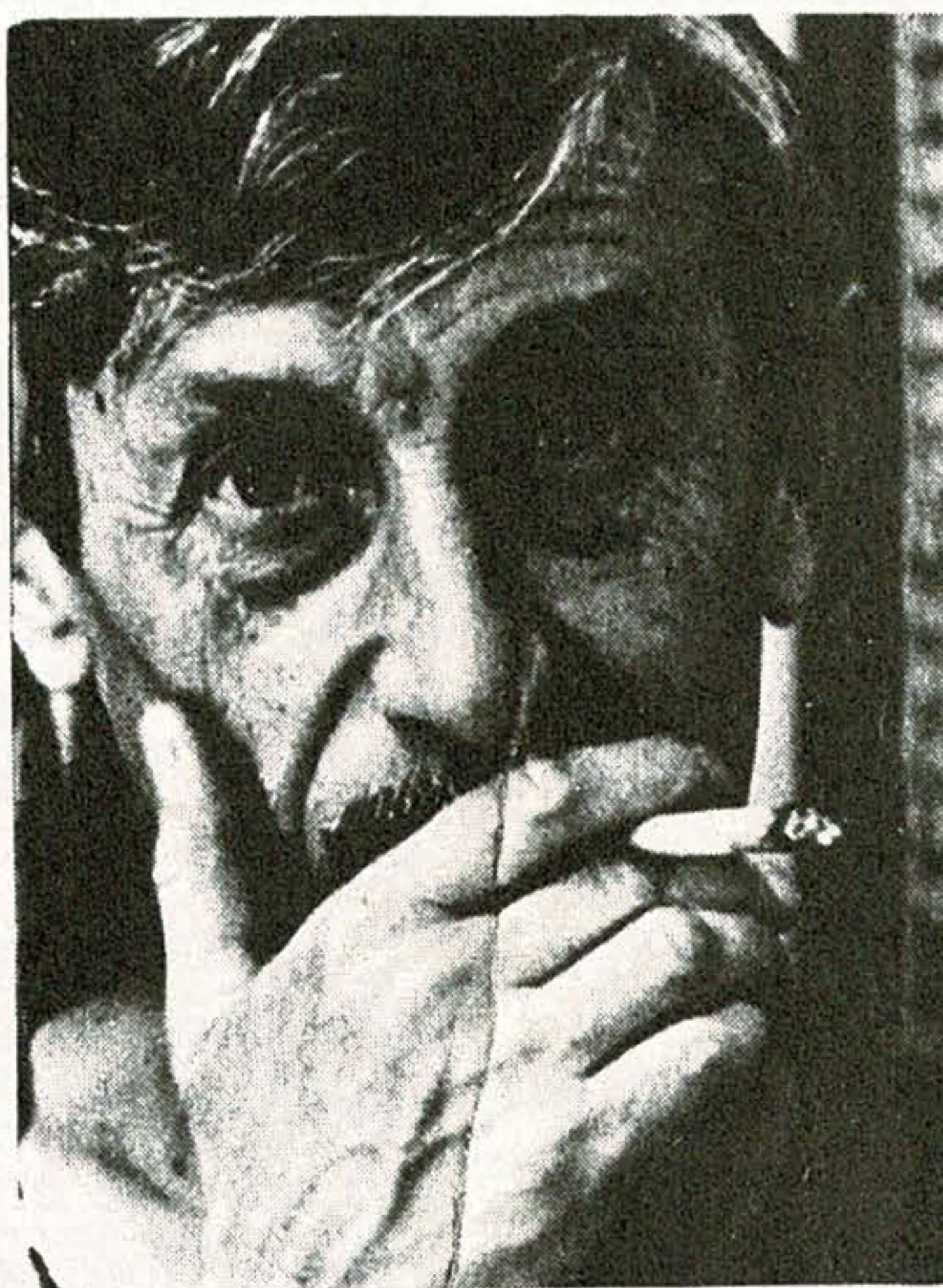
Ракурс 122

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ЛИЦА И ПОДРОБНОСТИ



Феликс Розинер



Виктор Некрасов



Аркадий Белинков



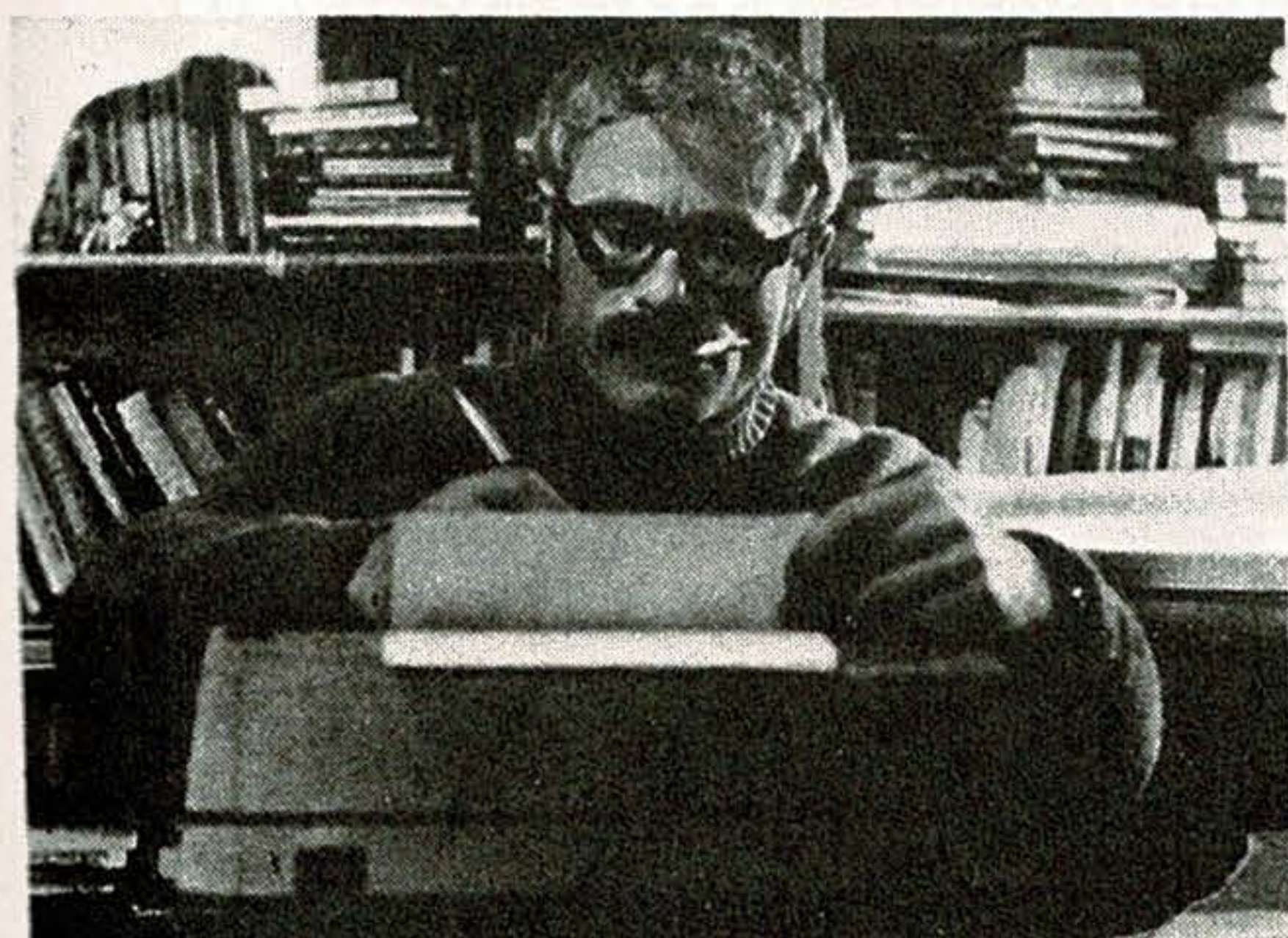
Фридрих Горенштейн



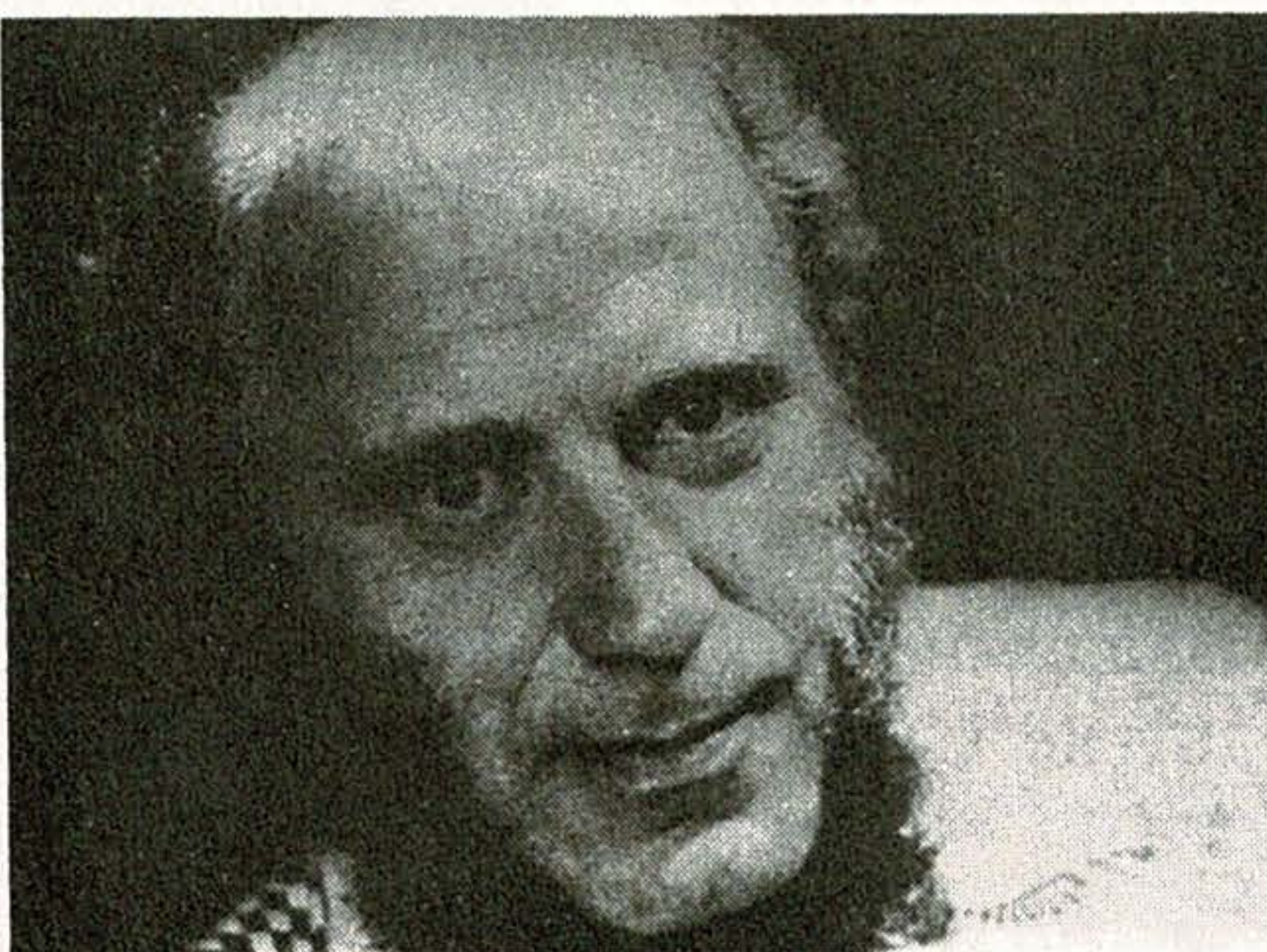
Иосиф Бродский



Борис Ямпольский



Ицхокас Мерас



Михаил Агурский



Ефим Эткинд

ФОТОКОЛЛЕКЦИЯ ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

— **С**пециально мы ничего, конечно, не собирали, — рассказывает главный редактор журнала Виктор ПЕРЕЛЬМАН. — Коллекция фотографий писателей русского Зарубежья «сама собой» постепенно скопилась в архивах журнала. Одним из первых пришедших к нам авторов — и первым, чью фотографию я хотел бы здесь представить, — стал **Виктор Платонович Некрасов**.

Впервые я увидел его в Париже на вечере Александра Галича. Аудитория у Галича набралась тогда — человек семьдесят. Не тысячи, которые он потом собирал в Израиле, а вот: считанные десятки. Сидит старая русская эмиграция: бабушки, отставные генералы, знаменитый епископ Иоанн Сан-Францисский, сестра его, Зинаида Шаховская (как издательницу газеты «Русская мысль» ее теперь хорошо знают в Москве)... И появляется в этом собрании человек, немолодой, молодой, худощавый, с серебряной головой и — с полным набором советских боевых наград на груди! Автор повести «В окопах Сталинграда»!

А второй раз я увидел Некрасова уже в Израиле, в Тель-Авиве. Приезжает в страну Некрасов. Успех огромный: приглашения со всех сторон; ответить на все нет сил и времени. Однако к нам приезжает. Появляется у меня дома в сопровождении множества людей, и эта встреча превращается в спонтанный диспут русских израильтян (которых в Израиле называют просто «русскими»). Сопровождающий Некрасова израильский профессор успевает мне шепнуть, чтобы гостю не давали пить, но эта задача признается нами нереальной, и в результате Некрасов, веселый, добрый, счастливый, оказывается в центре огромного числа людей, не вместившихся, естественно, в моей квартире, так что заполняется и двор. О чем говорим? Да обо всем! О России, о диссидентстве, о мировой истории... это, знаете, посреди Тель-Авива такой настоящий московский треп, беспорядочный, возбужденный, когда все друг друга перебивают и никак не могут наговориться. Тогда Некрасов отдал в наш журнал свою повесть «Персональное дело коммуниста Юффы» — об отъездных мытарствах. Она у нас в журнале появилась в пятом номере и с тех пор, кажется, не переиздавалась. Тогда же Виктор Платонович согласился войти в редколлегию журнала «Время и мы», так что я стал встречаться с ним довольно часто.

Запомнилась встреча в Париже, куда я заехал из Израиля по пути в Западный Берлин, так что мы туда отправились вместе с Некрасовым — там была назначена конференция диссидентов. Но это мы ее так называли, а в советских газетах мероприятие именовалось антисоветским сборищем. Участвовали в сборище Наум Коржавин, Александр Галич, Владимир Максимов, Владимир Буковский и многие другие. Спонсором являлся Аксель Шпрингер: формально это было как бы расширенное заседание редколлегии «Континента» (меня пригласили как представителя «конкурирующего», но отнюдь не враждебного органа). По су-

ществу же, диссиденты опять-таки искали случая выговориться. Предварительно более узкая группа была собрана в парижской редакции максимовского журнала; вот там-то мы с Некрасовым и встретились.

И вот идем с ним по Елисейским Полям; он в старом плащике, запахивается от дождика и все повторяет: «Это ж надо, мы с тобой идем по Елисейским Полям и трепемся! И трепемся!! И трепемся!!!» Мы с ним всегда разговаривали «без темы»; тема нащупывалась по ходу. Конечно, обсуждали его рукописи: Некрасов печатал у нас свои путевые заметки, главным образом японские и австралийские, — цикл «Из дальних странствий возвратись...». Впечатление от встреч с ним было удивительное: человек от природы остроумный, Некрасов говорил всегда как бы не всерьез; вовлечь в железобетонный обмен мнениями его было невозможно, он был всегда как бы навеселе, легко и быстро входил в разговор.

И еще поражало в нем — бескорыстие, бессребрничество. Я был в его парижской квартире: две маленькие комнатки... Тогда мы и сфотографировались; «щелкнула» нас его жена Галина Викторовна. Так в моем архиве, помимо «авторского портрета» Некрасова, весьма выразительного, — остался и этот любительский снимок, где мы сидим с ним за столом, и он держит в руках банку кофе, и обстановка напоминает все ту же московскую «интеллигентскую кухню». На обороте снимка — дарственная надпись: «На память о Париже! В. Некрасов. X 78.»

Аркадий Белинков. Фигура легендарная. Когда я приехал на Запад, его уже не было в живых. Но драма резонировала: Белинкова поначалу никто не принял, не признал в эмиграции. «Вторая волна» его отвергла — за «русофобию» (особенно непримирим был Роман Гуль), а «третья волна» тогда еще только набирала силу. Белинков почувствовал себя в вакууме. Когда позднее мы стали публиковать главы из его романа о Юрии Олеше и я вступил в переписку с Натальей Белинковой, вдовой Аркадия Викторовича, она рассказала мне, какие он получал анонимки. Вот трагедия человека, который бежал от тоталитарного гнета, но попал в ситуацию такой вот тотальной нетерпимости и ничего не смог с этим поделать. Пытался наладить свой журнал — «Новый колокол» — выпустил только один номер (теперь это библиографическая редкость). В том единственном номере самый яркий материал — собственная статья Белинкова «Страна рабов, страна господ»: все вроде бы про декабристов, но читается, так сказать, с «переменой адреса»... Самого автора «перемена адреса» не спасла: в России человек прошел через лагерь и все выдержал, а на Западе — сердце разорвалось. Умер от инфаркта.

Вот **Борис Ямпольский**, которого я, отъехав на Запад, уже никогда не увидел, но с которым общался в пору моей службы в «Литературной газете» (я там заведовал отделом информации с 1968 по 1973 год). Ямпольский к нам приходил тогда поговорить, отвести

душу. Писатель он был известный, но держался скромно, контраст с иными литературными бонзами был разительный: помню, один живой классик, секретарь Союза писателей, человек весьма состоятельный, мог, например, взять у нас в отделе со стола и положить в карман бутылку клея или еще какую-нибудь канцпринадлежность (мы ему: «С. В., у вас же есть секретарь, неужели он не купит клея?!» - ничего не помогало: все было на юморе, однако клей исчезал). Ямпольский ничего такого себе не позволял и очень в наших глазах выигрывал. Зачем приходил? Да просто в надежде, что мы о нем как-то упомянем в газете.

Его в ту пору официально не очень признавали, прозу его не печатали, а тут была все-таки отдушина. Все-таки мы могли дать информацию: такой-то работает над тем-то... Потом, оказавшись уже на Западе, я узнал, что в самиздате ходит большая повесть Ямпольского. Названий было несколько: «Главная улица», «Арбат», «Коммунальный Арбат»... Я стал за нею охотиться. В конце концов добыл. И вот поразительный контраст: я знал человека, который числился то ли в очеркистах, то ли в детских писателях и в живом общении казался легким и даже веселым, и вдруг такая тяжелая повесть о том, какой кошмар в душе его героя: мания преследования, ужас тотальной слежки. Мы напечатали эту повесть с фотографией автора.

Ицхокас Мерас — это имя я впервые услышал в Москве, когда работал в «Литературной газете». У нас тогда была принята такая шуточная иерархия: все писатели в глазах главного редактора делились на три разряда. Высшая категория — это те писатели, к которым можно пойти за репортажем в гости; вторая — те, у которых можно взять интервью под рубрикой «Над чем работаете?» И третья — те, кого достаточно упомянуть в каких-нибудь перечнях. Мерас был в ту пору автором двух повестей о жизни евреев под фашистской оккупацией. Его знали как писателя честного, прогрессивного; наш редактор Александр Борисович Чаковский ставил Мераса так высоко, что разрешил нам, журналистам, пойти к нему в гости. И что же? Мерас таких гостей не принял! Так и не довелось мне в московские годы с ним познакомиться.

Несколько лет спустя, попав в Израиль, я услышал: вот, мол, тут один какой-то ваш живет: Мерас или Мерис... Тут я не выдержал и наконец-то отправился к нему в гости! И он — принял! Вижу: сидит злой, растерянный. Спрашивает: не знаете, куда Белоцерковский поехал, не в Америку ли? — Да, говорю, в Америку. — Правильно сделал!

А дело в том, что Мерас только что прибыл в Израиль и совершенно не знал, что делать, где печататься, на что жить, как жить? Мы разговорились. Потом сдружились и много общались. Помню, на встрече с министром абсорбции Израиля Мерас возмущенно спрашивал: «Где культура? Правительство обязано заботиться о культуре!» — на что ему отвечали: «Никто тебе ничего не обязан! Ты сам должен о себе заботиться! А то корыто им давай, машину им давай! Тут

свободная страна. Если что дали, скажи спасибо». Вот такие диалоги вел Мерас и такие речи выслушивал, а потом неожиданно он стал председателем Общества эмигрантов из СССР. Причем его выбрали после долгих споров. Много претендентов было забраковано, все уже устали от борьбы, тогда кто-то говорит: давайте пригласим Мераса, он человек объективный и честный. Пригласили, и он в течение года все это дело преспокойно завалил, потому что никаких способностей к административной работе не имел. И стал просить, чтобы его отпустили. А там — демократия! Да какая! Нечто похожее можно видеть сейчас в Москве: гласность намолчавшихся людей! Вот такую же гласность осуществляли в Израиле в 70-е годы бывшие советские люди. Они Мераса никак не хотели отпускать: «Нет, ты так просто не отделаешься, мы тебе вначале финансовую ревизию устроим!» Еле он от них отбился, а когда, наконец, отбился, то и начал опять писать: вернулся к письменному столу.

Его первая вещь на израильском материале называлась «Сарра», мы ее напечатали. Интересно, что, вернувшись в литературу, Мерас на жизнь себе зарабатывал, преподавая в школе черчение.

Иосиф Бродский. Его портрет прислал нам живущий в Сан-Франциско фоторепортер Михаил Лемхин. Отношения с Бродским у нашего журнала старые: еще в пору, когда мы издавались в Тель-Авиве, он, тогда еще не Нобелевский лауреат, по нашей просьбе присылал нам стихи. Но еще более, чем стихами, он стал тогда известен своими интервью, которые назывались «Нагнать упущенное время» — это были беседы с Джоном Глэдом, американским профессором, — там Бродский излагал взгляды на поэзию и жизнь, говорил о своих поэтических принципах, об отношении к Западу и к Востоку. Бродский открыто выбрал Запад, и о нем сегодня можно сказать, что это полностью американский поэт. Он пишет по-английски столь же охотно, как и по-русски, и именно так отвечает на соответствующие вопросы, хотя в подтексте чувствуется, что по-русски ему писать все-таки легче и привычнее.

Ефим Эткинд. Заместитель редактора журнала «Время и мы». Уехал из СССР в середине 70-х годов, причем расправа с ним в Ленинграде была ужасная. Несправедливость в том, что прямого участия в диссидентском движении Ефим Григорьевич не принимал; книга его так и называется: «Записки незаговорщика», и речь в ней идет о том, как пытались уничтожить человека только за то, что он независим и отстаивает свою точку зрения. Переехав в Париж, он стал преподавать в одном из университетов, развернул активную деятельность в области перевода. Группе Эткинда западная филология обязана новыми выверенными переводами Пушкина и Лермонтова на французский язык. Эткинд много пишет, выступает, ездит по всему миру; еще он известен тем, что вместе с Симоном Маркишем подготовил первое издание романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Мы об этой его работе знали, и Ефим Григорьевич дал в журнал ту часть романа, где речь

идет о комиссаре Крымове, эту часть мы опубликовали под названием «Судьба комиссара Крымова», и читалась она как отдельная повесть.

Вообще надо сказать, что через Эткинда в журнал поступило много рукописей: его как критика и литературоведа хорошо знали и именно ему слали рукописи на суд и решение.

Феликс Розинер. Это имя я услышал в Израиле: есть, говорят, такой человек, и он имеет что предложить журналу. Имя новое, и я на всякий случай особого энтузиазма не выказываю: мало ли кто что предлагает! Ну, пусть придет, покажет... Он приходит, показывает. Вижу: талантливо. И недлинно. Печатаем. Потом выясняется, что у Феликса есть и длинное: большой роман. Говорю: несите. Он привозит первую часть. Я этот момент хорошо запомнил, потому что Феликса по дороге в редакцию оштрафовала полиция. То ли наехал на кого-то, то ли на красный свет рванул, не помню. Надо сказать, что в Израиле темперамент у людей такой, что они не очень-то ждут на перекрестках, так что полиция штрафует частенько, но тут уж я решил, что случай знаменательный: автор так спешит к нам в редакцию, что едет на красный свет! Помню, добрался он до нас ужасно расстроенный, и даже не тем, кажется, что пришлось раскошелиться, а тем, что, объясняясь с автоинспекцией и перекладывая бумаги, потерял страницу из рукописи... Страницу мы восстановили, и роман Розинера «Некто Финкельмайер» теперь широко известен. Потом появился и знаменитый «Лиловый дым».

Теперь несколько слов о **Михаиле Агурском**, или, как его называли, Мелике. Я познакомился с ним в Москве, когда все мы боролись за выезд — это было в начале семидесятых годов. Встречались чуть не ежедневно, вырабатывая линию поведения; тогда перед каждым стоял вопрос: каким образом действовать: громко требовать или, наоборот, тихо сидеть и ждать? Мелик Агурский был, что называется, теоретик этого дела, он вырабатывал концепцию. И она у него была такая: надо сидеть и писать. Вот он сидел и писал. Ни в каких акциях, демонстрациях не участвовал, занимался Горьким. Напечатался в сборнике «Из-под глыб». Так он писал и выписался в «иудео-христианина», как он сам себя называл. Он был идеологом союза двух этих религий: не то что соединить их хотел, а выявить их единство в мировой культуре: глубинное единство иудаизма и христианства. Уехав в Израиль и поселившись там, он по-прежнему много писал, выступал в газетах, на телевидении, развил необычайную активность, стал авторитетнейшим советологом. При его фантастической работоспособности весть о его смерти была для меня совершенно неожиданной.

Фридрих Горенштейн. Вышло так, что сначала я познакомился с рукописью, а потом уже с

автором. Рукопись принес Ефим Эткинд. Называлась она «Искупление». Лапидарная, мощная. С сильнейшим реалистическим сюжетом в первой половине, и с сильнейшим мистическим сюжетом во второй. Тогда была такая ситуация в журнале, что всю вещь мы не имели возможности напечатать, ибо ничего, кроме повести Горенштейна, в книжку журнала уже не влезло бы. И печатать с продолжением тоже не хотелось, потому что при разрыве частей терялась органическая связь. И мы решили мистику обрубить, то есть дать только первую половину, так сказать, журнальный вариант. Все с автором оговорили, и он вроде бы согласился, но потом неоднократно попрекал меня этим обрубленным вариантом, так что мне приходилось прибегать к помощи Наврозова, который в свойственной ему манере утешал Горенштейна: «Правильно вас обрубили, все и так ясно, все замечательно в первой части завершилось. Ма-ало ли что вы хотите еще и мистику, это уж ваше дело, а журнал сделал так, как нужно!» — Конечно, Горенштейн с этим так и не примирился. Тем не менее мы получили от него «Бердичев», прекрасную беллетризованную пьесу, и напечатали ее. Затем он прислал рассказы и, в частности, «Шампанское с желчью», — из-за которого он поссорился с Максимовым, не захотевшим это печатать в «Континент». А мы напечатали. И публиковали Горенштейна много и охотно. И новая его вещь — «Последнее лето на Волге» — тоже напечатана в журнале «Время и мы». Потом появился — не у нас уже — роман «Псалом», огромный, эпический, соотносящий современность с библейской вечностью — так Горенштейн доказал, что он писатель многожанровый.

Что еще интересно? Горенштейн не признает своей связи с «шестидесятниками», он отрицает, что вырос из «оттепели», он считает, что развивался сам, ни под какими влияниями никогда не находился и ни в какие списки, обоймы и когорты входить не желает. Может быть, я субъективен, но, с моей точки зрения, Горенштейн сейчас — писатель номер один в эмигрантской русской прозе, а может быть, и не только в эмигрантской. По силе и мощи таланта он не имеет себе равных. Помню, я сказал Эткинду: «Ефим Григорьевич, ведь это классик!» — а Эткинд смеется: «Да какой он классик! Глубоко провинциальный человек!» — имея в виду манеру Горенштейна держаться, простецкий стиль разговора («Ну, так пускай им будет хуже!»), вообще весь облик, принципиально удерживающий повадку украинского «местного жителя», что в сочетании с мощной талантливостью смотрится очень своеобразно. Можно рассказать еще многое, и снимков в архиве журнала еще много.

Может быть, удастся издать все это отдельной книгой. Если получится...

«И СТРАШНО ГРУСТНО СТАЛО МНЕ...»

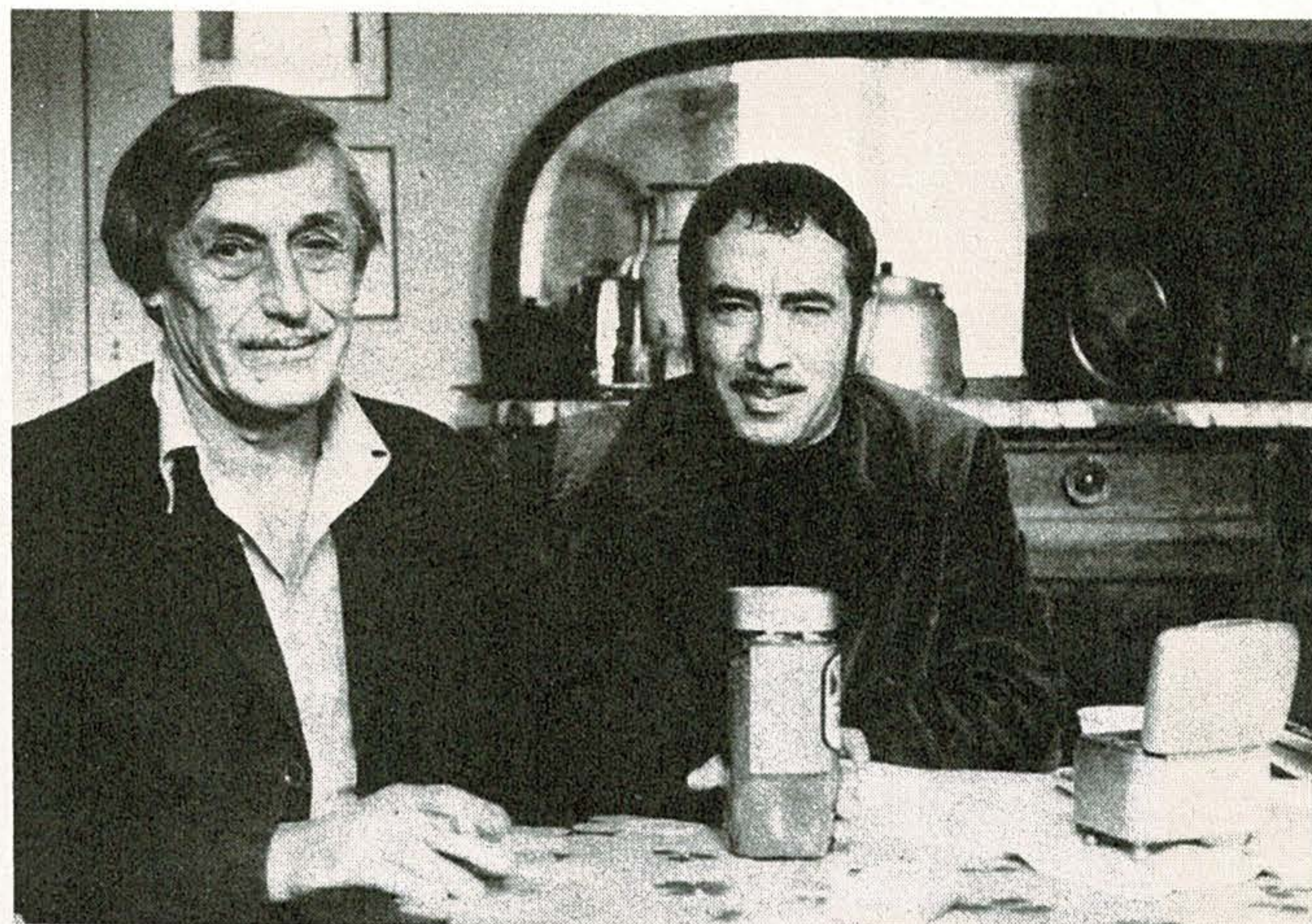
Виктор Борисович Перельман раскладывал по столу фотографии писателей, с видимым благодушием и юмором рассказывая про них истории, и можно было подумать, что мы присутствуем при счастливом финале плутовского романа или серии биографий приключенческого жанра; все позади: муки отказа, страсти отъезда, проклятье безгласности, — фотографии, за хранение которых во время оно можно было если не схлопотать, то попасть на заметку, теперь мирным пасьянсом ложатся на скатерть и обсуждаются на предмет публикации.

Но звучало и что-то еще в его рассказе, подспудное, может быть, не вполне осознанное, — да и я это не столько осознавал, сколько чувствовал. Какая-то горечь невысказанная. Осадок несмыаемый. Или вопрос безответный. За счастьем ехали, от несчастья бежали. А нашли? А убежали? Слово на роду написана человеку тяжесть непосильности, и вот он спасается от нее, а она опять с ним, она — внутри него. Это не зависит даже и от личных качеств. Виктор Некрасов жизнелюбив и общителен, Аркадий Белинков замкнут и неуступчив, Мерас непрактичен, Наврозов практичен, Эткинд не хочет быть диссидентом, Агурский хочет, этот преуспевает, издается, в лауреаты всемирные выходит, а тот продолжает мыкаться там так же, как мыкался здесь, — а над всеми словно бы тень висит. Там висит, как здесь висела.

Есть внутренняя готовность человека к сопротивлению, есть потаенная «несходимость» его с окружением, и она настигает везде. Это драма, драма внутренняя. Бежит человек от тоталитаризма восточного — и попадает в тотальный антитоталитаризм — западный. Не принимает ничего здесь — и там оказывается в одиночестве. Там ли, здесь — он все равно изопьет чашу.

Что уж теперь считаться. Уехали — и правильно сделали. Поздно считаться, да и не с кем.

Был момент, на границе десятилетий, когда только-только попадали заслоны, и диссиденты вчерашние бросились сюда, — тогда две эмоциональные волны схлестнулись встречно. Оттуда несло: «Мы боролись, и нас изгнали, а вы тут сидели и терпели; мы сохранили литературу, а вы ее разменяли на компромиссы!» А с этого берега: «Это вы разменяли драму на безбедную жизнь! А мы тут выдюживали!» Хорошо, что недолго длилась эта маловменяемая тяжба: глупость ее была слишком очевидна, особенно в условиях нынешней России. Кто ее подкосил больше: оставшиеся ли кроты, разрывавшие фундамент, или отлетевшие орлы, клевавшие извне, — рухнула. Нет больше Системы! Не с кем считаться, не с кого взыскивать. Эмигранты, возвращающиеся «домой» (как правило, книгами; физически мало кто рискует вернуться), убеж-



Виктор Перельман с Виктором Некрасовым

даются, что «той страны», которая их обижала, нет. Есть другая, новая, и этой новой, пожалуй, мало дела до того, где писался «Псалом»: в Москве или в Берлине, как нет дела до того, в Париже или в Спасском-Лутовинове создавалась «Новь», в Вольмаре или в Юрьеве «сидел и писал» Курбский свои письма царю Ивану. Потому что такая переписка входит в историю культуры именно как целое, и именно потому входит, что человек, сидящий в Вольмаре, *хочет* участвовать в русской драме.

Слава богу, что пали внешние перегородки. Остальное — в твоих руках. Выбираешь Запад — в добрый час. Становишься американским поэтом — поздравляем. Только и расплаты: риск уйти из русской памяти. А не уйдешь — так именно в той степени, в какой сам не захочешь уйти; ровно настолько и останешься, и уж тогда прочтут, оценят, откликнутся тебе в России — независимо от того, учишь ли ты школьников черчению в Израиле, преподаешь ли американцам славистику в Штатах или независимо живешь в Германии, сохраняя днепропетровские манеры.

Дух дышит, где хочет. И расплачиваться за это приходится в любом случае. Расплачиваться за внутреннюю независимость, за невозможность поступиться принципами, за жажду выговориться, за тягу к общению, за отказ от общения — за все, что делает тело несчастным, а душу счастливой. Или наоборот: тело — счастливое («сто десять сортов колбас и сосисок»), а душу — несчастной.

Мы перебирали разложенные по столу бумажные квадратики, смотрели на эти силуэты и блики, и лейтмотивом звучало во мне тютчевское, невыносимое: «Так смотрят души с высоты на ими брошенное тело...»

ЛЕВ АННИНСКИЙ

ЖУРНАЛ «РОДИНА»

в 1993 году в основных рубриках публикует :

Наше исследование. *Земства в России. История казачества. Феномен старообрядчества. Великое Княжество Литовское. Жена Муссолини — подруга Ленина.*

Начало. *Праславяне — кто они? Была ли письменность у славян? Принятие христианства: благо или зло? Куда исчезли половцы и печенеги? Откуда пошла земля русская?*

Антигерои. *Марина Мнишек, Аракчеев, Шуйский, Берия...*

Из истории российских партий. *Анархисты. Дашнаки. Максималисты.*



Фото Виктора Грицюка

Сто народов России. *Обычаи, быт, традиции и праздники народов. Русский национальный характер.*

Неизвестные войны России. *Два спецномера, посвященные первой мировой и кавказской войнам (Неизвестные страницы. Униформа. Знамена. Ордена).*

«РОДИНА»
— это 112 страниц увлекательного чтения для всех,
кто любит историю.

Индекс 73325. Цена подписки на 2-е полугодие — 240 рублей (без стоимости доставки).